

Василий Иванович Немирович- Данченко

Радость забытой крепости (Очерки жизни и войны в Дагестане. Часть #1)

Немирович-Данченко Василий Иванович — известный писатель, сын малоросса и армянки. Родился в 1848 г.; детство провел в походной обстановке в Дагестане и Грузии; учился в Александровском кадетском корпусе в Москве. В конце 1860-х и начале 1870-х годов жил на побережье Белого моря и Ледовитого океана, которое описал в ряде талантливых очерков, появившихся в «Отечественных Записках» и «Вестнике Европы» и вышедших затем отдельными изданиями («За Северным полярным кругом», «Беломоры и Соловки», «У океана», «Лапландия и лапландцы», «На просторе»). Из них особое внимание обратили на себя «Соловки», как заманчивое, крайне идеализированное изображение своеобразной религиозно-промышленной общины. Позже Немирович-Данченко, ведя жизнь туриста, издал целый ряд путевых очерков, посвященных как отдельным местностям России («Даль» — поездка по югу, «В гостях» — поездка по Кавказу, «Крестьянское царство» — описание своеобразного быта Валаама,



«Кама и Урал»), так и иностранным государствам («По Германии и Голландии», «Очерки Испании» и др.). Во всех этих очерках он является увлекательным рассказчиком, дающим блестящие описания природы и яркие характеристики нравов. Всего более способствовали известности Немировича-Данченко его хотя и не всегда точные, но колоритные корреспонденции, которые он посылал в «Новое Время» с театра войны

1877 — 78 годов (отд. изд. в переработанном виде, с восстановлением выброшенных военной цензурой мест, под заглавием «Год войны»). Очень читались также его часто смелообличительные корреспонденции из Маньчжурии в японскую войну 1904–1905 годов, печат. в «Русском Слове». Немирович-Данченко принимал личное участие в делах на Шипке и под Плевной, в зимнем переходе через Балканы и получил солдатский Георгиевский крест. Военные впечатления турецкой кампании дали Немировичу-Данченко материал для биографии Скобелева и для романов: «Гроза» (1880), «Плевна и Шипка» (1881), «Вперед» (1883). Эти романы, как и позднейшие романы и очерки: «Цари биржи» (1886), «Кулисы» (1886), «Монах» (1889), «Семья богатырей» (1890), «Под звон колоколов» (1896), «Волчья съть» (1897), «Братские могилы» (1907), «Бодрые, смелые, сильные. Из летописей освободительного движения» (1907), «Вечная память! Из летописей освободительного движения» (1907) и др. — отличаются интересной фабулой, блеском изложения, но пылкое воображение иногда приводит автора к рискованным эффектам и недостаточному правдоподобию. Гораздо выдержаннее в художественном отношении мелкие рассказы Немировича-Данченко из народного и военного быта, вышедшие отдельными сборниками: «Незаметные герои» (1889), «Святочные рассказы» (1890) и др.; они правдивы и задушевные. Его эффектные по фактуре стихотворения изданы отдельно в Санкт-Петербурге (1882 и 1902). Многие произведения Немировича-Данченко переведены на разные европейские языки. «Избранные стихотворения» Немировича-Данченко изданы московским комитетом грамотности (1895) для народного чтения. В 1911 г. товариществом «Просвещение» предпринято издание сочинений Немировича-Данченко (вышло 16 т.). Часть его сочинений дана в виде приложения к журналу

«Природы и Люди».

Василий Иванович многие годы путешествовал. В годы русско-турецкой, русско-японской и 1-й мировой войн работал военным корреспондентом. Награжден Георгиевским крестом за личное участие в боях под Плевной. Эмигрировал в 1921 году. Умер в Чехословакии.

**Василий Иванович
Немирович-Данченко
Радость забытой крепости**

Командовал Самурским укреплением майор Брызгалов, из старых кавказских служак. Сорок лет тому назад семнадцатилетним юношей был он отправлен сюда из деревни стариком-отцом и определился юнкером в Тенгинский полк, в котором тот служил когда-то. Степан Фёдорович Брызгалов до офицерских эполет протянул достаточно продолжительную ляжку. Под Ленкоранью он получил первый солдатский георгиевский крест, на высотах Хадай-Ли вскочил первым на завалы и украсил грудь вторым и, наконец, только в двадцать четыре года, после молодецкого дела в елисуйском султанстве, где он ухитрился со взводом солдат двое суток отбиваться от наседавшего на него отовсюду неприятеля — был произведён в прапорщики. Причины столь долговременного ожидания были основательны. Брызгалову грамота давалась туго, и экзамен, далеко не строгий (времена были такие), выдержать ему довелось только через пять лет. И то, впрочем, с грехом пополам. Когда полковник предложил ему вопрос о том, как следует отступать при превосходном числе неприятеля, Брызгалов

ответил:

— Ни при каком числе российскому воину отступать не приличествует.

— Ну, а если бы вашу роту атаковало скопище тысяч в пять?..

— Отбился бы... И тому примеры у нас имеются.

— Ну, а тысяч десять?..

— Надеялся бы на Бога, г-н полковник.

— Это хорошо... Но представьте себе, что на вас набросилось бы видимо-невидимо.

— Стал бы готовиться к смертному часу... а об отступлении бы и не подумал.

— Я думаю, его больше и экзаменовывать нечего? — обратился полковник к окружающим.

— Разумеется, офицер будет бравый. Ну, Брызгалов, поздравляю тебя с эполетами. Посылай за кахетинским да вели жарить шашлык товарищам.

Тем не менее Степан Фёдорович, уже в офицерских чинах, старался образовать себя по благородному. В Тифлисе он выучился танцевать минует и польку, мог пройтись в полонезе, у итальянца Бернардо Бернарда вы-

зубрил пять-шесть французских фраз, перенял «поклоны с комплиментом», как говорили тогда, и даже осмелился на такую благовоспитанность, что стал выпускать воротнички из-под воротника, а под сюртуком носить белый жилет, и как-то на балу у наместника он пленил грузинскую девицу из княжеского рода, с таким громадным носом, каким не могла похвастаться ни одна турецкая фелука. На другой день к Брызгалову явилась старуха-армянка и сообщила ему, что он окончательно победил грузинскую девицу — и если хочет получить в приданое две тысячи баранов в Закататах, виноградники в Душете и дом в Тифлисе, то может свататься. Брызгалов был весьма польщён и приказал армянке «стараться». Та постаралась так, что через неделю он уже в парадном мундире, взбив кок на лбу и зачесав виски вперёд, держа руку в белой перчатке, по форме, между третьей и четвёртой пуговицей, пил у княжны кофе.

Брызгалов сделал «пропозицию». По этому торжественному случаю из дальних комнат была выведена мать княжны, старая княгиня ужасного вида. К её громадному носу приле-

пились две коринки, игравшие роль глаз. Кончик носа и подбородок напоминали два соединённых копья, под которыми торчала пара ржавых клыков. Брызгалов доказал истинную неустрашимость русского воина и подошёл к ручке. Сыновья что-то сказали по-своему старухе, и неведомо откуда явился грузинский поп с иконой, и не успел ещё Степан Фёдорович опомниться, как старший брат, Леван, уже подносил ему оправленный в серебро турий рог с кахетинским вином и поздравлял его с обручением. Коринки источали слёзы. Потом явилась зурна, тиблипито и дудуки. Невеста плясала лезгинку, а жених бил в ладоши, потом опять на сцену выступил турий рог. На другое утро за окном опять заиграли дудуки, запела чианури, и забили тиблипито. Оказалось, что братья княжны давали ему нечто вроде серенады.

Получив разрешение от начальства и благословение от отца, восхищённого тем, что сын его женится на княжне, Брызгалов обвенчался, и после свадьбы узнал, что за его женой были только те бараны, которых подавали на ужин, что же касается до виноградни-

ков, то о них ведётся процесс, начатый ещё двести лет назад. Дом в Тифлисе был налицо, но он настолько же принадлежал княжне, как и все другие дома. Мать её нанимала квартиру в нём и, когда Брызгалов явился с объяснениями, оказалась не понимающею русского языка и только источала бесчисленные слёзы. Впрочем, Степан Фёдорович недолго обращал внимание на все эти пустяки. «Предположим, что я её взял за красоту!» — решил он раз навсегда и успокоился... Так он это объяснял и другим, и красота г-жи Брызгаловой долго была в Тенгинском полку любимую шуткою. Тем не менее оказалось, что Степан Фёдорович не прогадал. Во-первых, жалованья его, сколь оно мало ни было, с избытком хватало на простую и незатейливую жизнь, какую все вели тогда на Кавказе; во-вторых, раз женившись на грузинской княжне, он вдруг половине Кавказа сделался «свой», и его всюду носили на руках и чествовали, как родного; в-третьих, сама Нина Андрониковна оказалась кладом настоящим. Она принадлежала к тому типу кавказских военных дам того времени, которые ни при каких

обстоятельствах не терялись, и не было таких запутанных случайностей, из которых они не могли бы выйти с честью... Она была истинным чудом энергии, изобретательности, терпения. Куда судьба ни закидывала её, на скалы ли Дагестана, в ущелья Аварского Койсу, в дидойские аулы, в степь Акстафинскую, — всё равно. Дети оказывались чисто одетыми и сытыми, мундиры и бельё мужа были в порядке, на столе всегда являлись щи и котлеты, долгов ни копейки, и кто бы из товарищей ни зашёл, — у Нины Андрониковны, словно из какого-то сказочного рога изобилия, появлялись и водка, и вино, и закуска, и чай... Рота, которую уже командовал Брызгалов, считала Нину Андрониковну за мать. Провинился ли солдат, пропадать надо, времена были строгие, — сейчас к ней. Смотришь, за обедом подаст она Степану Фёдоровичу необычайно вкусную долму и вдруг поставит бутылку удивительного кварели. Брызгалов разнежится, она тут ему и расскажет о беде, постигшей солдата, и всё кончалось лёгким тычком да угрозой «сквозь строя» в будущем. Задолжает ли и запутается молодой офицер, к кому же

как не к Брызгаловой? Она и выручит и нагоняй даст, и посоветует, что делать. Откуда эта женщина — истощённая, худая, некрасивая, всю жизнь дышавшая на ладан — брала такие силы — кто мог ответить! Такие были тогда, — как были и герои и богатыри мужья... Как-то с мужем случилась беда, — он нечаянно застрелил мирного бека. Дело пахло «солдатчиной». Нина верхом поскакала из Дербента в Тифлис через горы, по аулам, занятым враждебными племенами, и у наместника вымолила-таки приказание «предать дело воле Божьей». У Нины не было ни на одну минуту досуга днём. Вместе с удивительно тупым и неповоротливым, как буйвол, денщиком Тарасом, она вела весь дом. Смеявшиеся сначала над тем, что Степан Фёдорович взял её за красоту, товарищи, как и следовало простым и хорошим людям, скоро рассмотрели в ней такую прелесть душевную, что искренно завидовали Брызгалову; так что, когда, наконец, она не выдержала и, во время одного перехода зимой через дикий чеченский хребет, схватила горячку и умерла, весь полк плакал над её гробом, как дети, а Степан Фёдорович

только растерянно смотрел и, смаргивая слезинки, бессильно обращался ко всем с вопросом:

— Что же мы теперь, братцы, без неё-то, без Нины?.. Что же мы?..

С таким же вопросом он отнёсся и к Тарасу.

— Тарас!.. Как же мы нынче-то... А?..

— Богу тоже, ваше благородие, ангелы нужны! — разревелся тот и убежал в овраг, чтобы его никто не заметил в столь неестественном виде.

Такая же бледная, худая и озабоченная Нина лежала в гробу. К ней подходили, прощались с нею, — и каждый читал в чертах её застывшего лица именно заботу. Точно и над могилою, куда её должны были опустить, она думала, как на семнадцать копеек и три четверти приготовить мужу и детям вкусный обед, да из тех же денег и больной дочке сварить суп из курицы... Дочку звали тоже Ниной, — но она не напоминала мать. Она одна оставалась на руках у отца, — сыновей всех покойница определила в корпус, и те воспитывались там молодцами, обещая превосход-

ных офицеров для кавказской армии... Когда Нину Андрониковну схоронили, — полковой командир подал просьбу заместителю, от лица всего полка, для определения её дочери в институт на казённый счёт «за заслуги матери». Это было исполнено, и девочку скоро отправили в Петербург, в Смольный, где она и оставалась девять лет, совсем забыв Кавказ или зная его только по преувеличенным описаниям того времени...

Степан Фёдорович в это время мог бы опять и хорошо жениться. Он уже командовал батальоном, был на виду. Но не мог забыть Нину.

За три года до описываемых нами событий Степан Фёдорович получил назначение на Самурскую линию.

Его сделали комендантом одного из укреплений на этой реке, защищавшего наши Каспийские берега и в то же время вдвинувшегося в самое сердце угрюмого лезгинского края...

Крепость, с её круглыми башнями и стенами, стояла между двумя рукавами Самура.

Посреди мрачных великанов Дагестана,

подымавшихся вокруг снеговыми вершинами, она казалась такой маленькой и жалкой. Над нею обрывались крутые скалы, с гребней которых за каждым шагом немногих защитников крепости следили зоркие хищники — «немирные». Кругом всё было величаво, но пустынно и грозно... В чащах, выросших за Самуром, гнездились дидойцы и казикумухцы. Нельзя было безнаказанно выйти подальше за стены укрепления, чтобы тотчас же у самой головы гулявшего не просвистала пуля — затаившегося в какой-нибудь впадине абрека... Нарубить дров в окрестных лесах — всякий раз стоило нескольких жизней. Почта в крепость доставлялась раз в месяц и реже, когда были случаи... По ночам за стены укрепления выгонялись сторожевые собаки, оберегавшие доступ к нему и предупреждавшие остервенелым лаем о приближении опасности... На одной из скал поблизости прежде было несколько деревьев. Пока Брызгалов не приказал их вырубить, оттуда лезгинны, притаясь за их стволами, случалось, часто били на выбор людей, спокойно переходивших через улицу внутри крепости.

Часто месяца по два гарнизон Самурского укрепления кормился солониною и хлебом, крупую и картофелем. Когда мирные лезгины оставались в аулах и прекращали доставку баранов и живности, — комендант и его офицеры могли только мечтать об этой роскоши. Овощи привозились из Дербента раза два-три в год. Солдаты пробовали разводить за стенами свои огороды, но их ждали лезгинские пули. Вздумали ходить по ночам выкапывать редьку, морковь, брать капусту, — два, три раза это удалось, зато после партия огородников была вырезана... В конце концов, пришлось бросить и огороды...

В таких закоулках, как Самурское укрепление, — женщин не видали. В девять часов вечера, когда выпускали собак, барабанщики били зарю, и крепость засыпала. Только унылые крики часовых, повторяемые эхом бесчисленных ущелий и скал, одни будили молчание долины, по которой Самур медленно катил струи... Собаки не нарушали безмолвия. Они были слишком хорошо выучены. Лай обозначал «берегись, — вижу врага», и на такой внутри крепости отвечала тревога... Со-

баки шныряли на версту кругом, обшаривали все чащи, рощи, кусты, — и если неприятель бывал в одиночку, то они, не подымая шума, кидались на него и расправлялись сами. Этим верным слугам горских укреплений шёл паёк от казны. Им выписывали провиант, и они вообще были в большой чести у солдат. «Наш брат, воин! — говорили они про этих верных и умных животных, — присяги не давали, а дай Бог каждому так послужить Царю-батюшке». В списках гарнизона значились и собаки поимённо. Любопытно, что при таких условиях и ум у них развивался необыкновенно. Крепостная собака была исполнена собственного достоинства, никогда не вызывала и не терпела побоев. Она не ластилась, не виляла хвостом, не смотрела искательски в глаза, но зато грудью стояла за своих солдат и в бою кидалась на лезгин и, если бывала ранена, — боевые товарищи клали её на шинели и приносили в крепость на руках. Храброго пса помещали в лазарет и ухаживали за ним, как за человеком. «При первом звуке барабана, призывавшего к сбору, собаки собирались перед командой, выходящей из укреплений, рас-

сыпались впереди стрелков и открывали неприятеля, засевшего в лесу...» Собаки так много значили, что впоследствии Шамиль тем, кому удавалось убить такую, назначал особые награды. В плен она не шла. Не было случая, чтобы горцам удавалось приручить её. На цепи она издыхала от голоду и не подпускала к себе никого, даже с пищей.

С бастионов крепости виднелись на высотах, в глубине ущелий большие аулы, — но все они были враждебны нам. Солдаты только любовались ими, не смея и помышлять отправиться к кунаку на побывку, Между чеченцами и черкесами у русских были кунаки; лезгины никогда не входили в дружеские сношения с нами. Раз навсегда между русскими и горцами было здесь объявлено беспощадное канлы... Между собою лезгины, случалось, прекращали его, но с русскими — никогда. Даже те, которые приезжали с торговыми целями в Дербент, принимали приглашение русского коменданта и пили у него чай, — потом должны были каяться в аульных мечетях, и кадии налагали на них штраф в пользу джамаата. Вольные, демократические обще-

ства аварцев, враждовавшие между собою, коль скоро дело касалось русских, немедля соединялись в тесные союзы. Между аулами и родами кровомщение прекращалось, когда подымался газават. Лезгина трудно было заметить из укрепления. Коней в горах Дагестана было мало. Черкес не сходил с лошади, — и его было хоть изредка видно; большинство лезгин дрались пешком и пробирались по горным рывинам так, что их, случалось, узнавали, когда уже на стенах крепости слышался их дикий, воинственный крик, и показывались их лохматые папахи. Каково было положение здешних укреплений, видно из того, что нигде нашим войскам не приходилось так жутко, как в Дагестане. Лучшие бойцы длинной эпопеи кавказской войны вышли отсюда: Кази-Молла-Гамзат-бек, Сурхай, оборонявший Ахульго, Ахверды-Магома, Хаджи-Мурат и сам Шамиль — великий имам — были лезгинами-аварцами. С тех пор, как Пётр I в 1722 году при помощи преданного ему Шамхала Тарковского Адиль Гирея разбил Уцмия Каракайтахского и взял Дербент, — пламя боевого пожара не унималось

в Дагестане ни на одно лето. Чеченцы, кабарда, адыге — мирились временами с русскими, вступали с ними в переговоры, а лезгины никогда. Ханства Дербентское, Кубинское, Кюринское, Табассарань были завоёваны, но самый Дагестан стоял под облаками, как неприступная крепость, перерытый безднами, с дорогами в виде ступеней по утёсам, со своими утонувшими в небесах аулами, каждая хижина которых казалась замком. Грозный и непобедимый, он не дрогнул даже и тогда, когда сердар Ермолов завоевал Аварию. На требование покорности — гордые кланы насмешливо ответили ему:

— Приди, если можешь; возьми, если смеешь!

Другие ответили ещё высокомерно:

— Нами может править только тот, кто живёт выше нас, т. е. Аллах.

До 27-го года у нас здесь была только одна крепость — Бурная. С 77-го мы начали возводить здесь другие по Самуру и Сулаку. Но не раз случалось, что лезгины, нечаянно напав на строителей, истребляли их и до последнего человека, так что в Дербенте не знали о судь-

бе, постигшей несчастных. Даже в аулах, покорённых нами, нельзя было обезоружить жителей, — их надо было истреблять. В нападении на Сулакское укрепление участвовали лезгинки-женщины и дрались с таким неистовством, что у Брызгалова, например, до сих пор через весь лоб шёл громадный шрам от их удара кинжалом. Он даже не заявил о нём и не желал, чтобы его записали вместе с другими ранами в его формуляр.

— Бабий удар! Подумаешь, какая слава будет. Не к респекту нашему. Нет, уж лучше пусть так...

Степан Фёдорович пытался сходитья с выдающимися богатством или значением горцами.

Помимо «политики», как выражались тогда, его вынуждала к этому и страшная скука крепостной жизни, но это было всё неудачно. Лезгины приезжали, подарки принимали, высматривали слабые стороны укрепления и в следующую же весну являлись предводителями отрядов, нападавших на него... У пленных добивался Брызгалов:

— Зачем же ты надул нас?

Но лезгины только таращились. Какая честность обязательна по отношению к врагу!

— А разве, если бы ты мог, — не обманул бы нас?..

— Русские никогда не обманывают.

— Напрасно... Мыслей человека не узнаешь, а слова всегда лгут...

Одного Ермолова впоследствии боялись они — да и то в пограничных аулах. Там, действительно, притихли и даже стали петь:

«Дети, не играйте шашками, не выхватывайте кинжала, чтобы он не блистал!.. Беда, как орлица распустила над нами чёрные крылья... Сердар Ермол близко... Мы слышим крики его отряда, видим отсвет его костров...

Он всё знает, всё проникает. Чего не рассматривает, о том догадается. Глаз у него, как у сокола, полёт — быстрее пули...

До него русские, как куры в клетушках, сидели за толстыми стенами крепостей, а по горам и по долинам, по ущельям и стремнинам весело гуляли лезгины. Всё крутом было ихнее... Тяжко было урису, радостно горцу...

Но, рассекая воздух могучими крыльями,

прилетел с севера сердар. И вышли русские из крепостей... Уши лошади для них вместо присошек, седельная лука — вместо стены... Ничего они с ним не боятся... Он кличет, — они идут, куда его подымут крылья, — туда их донесут ноги... Сначала они взяли долины, потом горы... Страшно стало у нас под облаками. Негде жить...

Дети, не играйте шашкой, чтобы она не блеснула под солнцем.

Сердар орлом падает на добычу, он клюёт железным клювом, раздирает её стальными когтями. Он, когда сердит, мечет молнии из глаз, когда спокоен, на лбу его тучи»...

Три уже года прожил так Брызгалов — то предпринимая экспедиции для наказания ближайших аулов, то отбиваясь от бешеных лезгинских скопищ, — и это ещё было сравнительно весёлое время! Гораздо тяжелее в долгие зимы было сидеть в четырёх крепостных стенах, выслушивать рапорты офицеров, по вечерам играть в бостон и ералаш с бабушкой, доктором и двумя ротными командирами. Один из них, по очереди, находился в отпуску в Дербенте, другой был на месте,

ожидая его возврата, чтобы поехать самому. Бедному Брызгалову приходилось бессменно оставаться здесь, неся тяжкую службу...

— Зато на нас вся Россия смотрит! — шутил он бывало.

— Смотрит, да не видит!..

— И слава Богу! Экая краса какая, особенно вы, доктор, посмотрите-ка на себя...

— Не во что... у нас в крепости и зеркала нет.

Действительно, зеркала не было.

Но в последние месяцы с каждой оказией Брызгалов что-нибудь да выписывал из Дербента. Прежде всего привезли зеркало и повесили его в одной — самой угловой комнате комендантского управления. К Степану Фёдоровичу стал ходить народ смотреться. Молодые офицеры начали причёсываться. Таких было трое. Один из них даже выписал себе одно ручное зеркальце, увлёкшись примером начальника, и за это получил прозвище «кокетки». Затем — явились ковры... Ситцевые занавесы... Наконец, с последней оказией доставили постель и полог к ней, а кровать была заказана крепостному столяру, да ещё с

резьбой... Столяр, впрочем, был немудрящий и соорудил какой-то ковчег, но в крепости и это было диво-дивом... Наконец, Степан Фёдорович объявил своим офицерам.

— Сюда скоро приедет моя дочка. Институт кончает. Ну, так я ей резиденцию приготовлю.

Эта весть живо облетела всю крепость, — и вдруг над нею даже воздух стал всем казаться розовым. Дочка Брызгалова должна была быть непременно красавицей. Молодёжь иначе и не понимала. Потом — воспитанная. Может быть, даже по французскому... Поёт, верно... И теперь целые дни г-да прапорщики и подпоручики ходили, как обалделые, любовались голубыми небесами, декламировали стихи, мечтали о «деве гор», как они уже её прозвали между собою. «Дева гор» ещё не выезжала из Питера, а уж прапорщик Роговой писал ей мадригалы, а подпоручик Незамай-Козёл добыл где-то гитару и по вечерам изводил серьёзных крепостных собак своим сентиментальным воем. Хотел было Брызгалов даже запретить ему это, — собак-де испортит, но оказалось, что кавказскую собаку

того времени испортить было нельзя ничем, даже пением Незамай-Козла...

Незамай-Козёл и солдат удивил. До него единственной музыкою в крепости были, как их нежно называл Брызгалов, «сигнальчики». И офицеры, бывало, от нечего делать и от жары, уходили под тень одинокой в крепости чинары и брали с собою горниста. Этот им играл, а они подпевали «сигнальчики». В конце концов, любого из них можно было разбудить хоть ночью и приказать, — и тот не ошибся бы и спел бы — «надлежаще», по выражению Степана Фёдоровича. То и дело слышалось в разных концах крепости из окон: «рассыпьтесь, молодцы, за камни, за кусты, по два в ряд!» Даже по вечерам пробьют зарю, ударят на молитву... Солдаты споют её стройно, так что во всех затянутых уже туманами ущельях, горцы друг другу передают: «Урус свой намаз творит»... На тёмных небесах сольются и пропадут грозные силуэты мрачных великанов... В аулах — под облаками засветятся огоньки, заблещут звёзды, — и опять так же понесутся в тишину дагестанской ночи сигнальчики. Иногда ночью прискачет казак...

Как он прорвётся чрез западни, настроенные кругом джигитами, — Бог знает, но вдруг у ворот крепости подымается тревога.

— Кто идёт?.. — спрашивают с её стен и башен часовые.

— Свой! — отвечает заморённый казак. — Доложи — с «лягучкой»... или с «цыдулой» от корпусного.

Крепость просыпается. Зажигаются огоньки, казака впустят, часто раненого по пути и истекающего кровью, и опять, прежде, чем всё заснёт кругом, из разных окон слышится громкое пение: «рассыпьтесь, молодцы, за камни, за кусты, по два в ряд!». Часто пению неожиданно аккомпанировал вдруг выстрел... Спрятавшийся где-нибудь за скалою лезгин бил по огоньку. У самого Брызгалова раз таким образом случайно влетевшею пулей затушило свечу. Разрозненные книжки «Отечественных Записок» были уже давно чуть ли не наизусть выучены крепостью.

Теперь Незамай-Козёл, не надеясь на память, в виду приезда молодой Брызгаловой, пересмотрел опять все книжки и повторил выражения, вроде: «О, если бы вы знали, что

говорить моему воспалённому сердцу ваш небесно-безмятежный взгляд», или: «Когда вы уходите, богиня, — солнце закатывается, и мрак моей души освещается только созвездием воспоминаний».

Даже когда слышалась команда:

— Эй, выходи за бурьяном!.. — и взвод строился, Незамай клал в карман книжку, чтобы на свободе заучивать наизусть все «неотразимые», по его мнению, фразы...

Когда не хватало лесу, — из крепости уходили в луга брать сухой бурьян, который в громадном количестве рос на этой выжженной солнцем почве... Горел он хорошо, — солдаты даже хлеб пекли на нём, но сбор его портил людям руки, и они умудрились состряпать себе из разных лохмотьев нечто вроде рукавиц. Это подавало острякам повод выкрикивать:

— Эй, Микитин, перчатки, надень, не равно с лезгинскими барынями встретишься...

В виду приезда «барышни» — даже солдаты подтянулись...

В крепости они со скуки завели козла.

— Ну, Васька, смотри! Молодцом теперь

будь. Не бодайся, как дурак. Ты не азиат. Барышня тебя увидит, спросит, кто такой? Сейчас ей — Васька-де, а по прозвищу Кочан, потому очень капусту люблю расейскую... Какой ты нации? Православный!.. — И затем заставляли его проделывать весь артикул.

— Генерал идёт! Генерал... Васька, генерал идёт!

Васька серьёзно поднимался на задние ноги и, потрясая бородой, ходил по двору.

— Васька, лезгины штурмуют.

Козёл немедля свирепел, — рога вперёд и стремглав летел на воображаемых лезгин.

Но пуще всех был взбаломучен ожидавшимся событием молодой немчик, прапорщик Кнауэс. Он только что приехал из корпуса и не носил формы, — он желал походить на настоящего лезгина, добыл себе оборванную черкеску, обвалял её в грязи и высушил, купил золочёный кинжал, ружьё, всё в золотой насечке, шашку в серебряных ножнах и в крепости ходил в таком виде. Незамай-Козёл, труня над ним, заметил, что «какой ты горец — разве горцы бывают с волосами», и Кнауэс немедленно выбрил голову... Теперь он

внезапно изменился. У Кнауса уже завелось тоже зеркало, и, оставаясь в своей комнате один, он репетировал перед ним. Подходил издали, кланялся, растопыривая локти, и тонким тенором говорил:

— Мадемуазель! Дозвольте из ваших прекраснейших ручек получить сию чашку...

Или:

— Мадемуазель! С вашим благополучнейшим прибытием над нашей крепостью вошла новейшая звезда.

— Нет, — приходил он в отчаяние, — по-немецки это гораздо лучше, но она, наверное, не понимает по-немецки.

— Пламень ваших глазок испепелил мои мысли, и они горят, как сухой бурьян в костре, — декламировал с другой стороны Незамай-Козёл, и вдруг заканчивал, — а ревуар де Парис!.. [1]

Кнаус даже покусился на стихи. По крайней мере, в его шкатулке лежал уже чисто переписанный листок, носивший заглавие: «Благородной девице, получившей своё образование в хладном Петербурге».

Наконец, Кнаус заказал с приезжим на ба-

зар лезгином себе настоящую черкеску с серебряными патронами и позументами, из белого верблюжьего сукна, и к тому дню, когда должна была приехать Нина, вышел таким чёртом, что Роговой и Незамай-Козёл вдру почувствовали себя совсем обиженными, и последний даже сделал демонические глаза и стал обдумывать кровавую месть. Одно утешало его, — на лице Кнауса ничего нельзя было разобрать. Немчик был белобрыс. Голову он выбрил, но усы пробивались каким-то бесцветным пухом, бровей нельзя было отличить от лба, и золотушные бледные уши торчали, как ручки у котла. Зато черкеска его так и горела, кинжал на солнце сверкал огнём.

— Да ты, немчура, чего это в крепости с ружьём за плечами ходишь? — добродушно смеялся Брызгалов.

— Так полагается, господин майор, по форме.

— По какой?

— По кумыкской, всегда-с. Горцу без ружья — нельзя...

— Да какой же ты горец, ревельская килька?

— Мои предки были тевтонскими рыцарями, и один из них даже убит в сражении под Грюнвальдом.

Майское утро на Самуре было прелестно. Тёмно-синие небеса тонули в дивном блеске. Горные вершины кругом величаво плавали в лазури. Лениво по золотому дну влачил серебристые струи полноводный Самур... Даже Брызгалов, с утра торчавший на башне, глядя в глубь долины, откуда должна была показаться «оказия», в её золотистую мглу, улыбался довольноною, счастливою улыбкою. Кнаус, впрочем, и тут удивил всех. Ему вдруг подали коня. И не успел Степан Фёдорович оглянуться, как тот уже выскочил за ворота и полетел по долине.

— Куда, безумец? Лезгины могут подстрелить, погоди оказии.

Но тот ничего уже не слышал. С папайкой на затылке, в блестящей черкеске, он нёсся вперёд, думая про себя: «Надо произвести первое впечатление»... Но, увы!.. В глубине долины, действительно, показалась скоро оказия. В открытом тарантасе ехала молоденькая девушка, белокурая, как её отец, с большими

чёрными глазами своей матери, только русская кровь придала им задумчивое выражение. Кругом неё подвигался конвой из казаков, сопровождавший всякую оказию по правилам. Впереди шёл взвод солдат, и за ними влачилось горное орудие. Позади, в арьергарде за повозками с продовольствием, следовал другой взвод. Партия от Дербента двигалась уже четвёртый день, не встретив никаких приключений, как вдруг вдали показалось золотистое облако пыли... Офицер, сопровождавший оказию, скомандовал: «Стой»! В золотистом облаке двигалась какая-то блестящая точка, она росла и росла... Скоро обрисовался стремглав скачущий горец. Он выхватил ружьё и выстрелил в воздух. Сердце у Нины замерло... Да, да... Это настоящий абрек, о которых она читалась в институте... Боже мой!.. Он один, а наших много... Он погиб, погиб! Она даже умоляюще руки вперед. Как вдруг, у самой оказии, кабардинский конь [2], управляемый неопытною рукою, поскользнулся, и импровизированный абрек полетел ему через голову, прокатился по пыльной долине и въехал белобрысой физиономией прямо в Са-

мур. Встал Кнаус живо, но весь в грязи, мокрый и совершенно обескураженный. К вящему его несчастью, оказию вёл офицер, знавший его. Он понял, в чём дело, и разозлился. Он вдруг крикнул:

— Прапорщик Кнаус!

Тот мокрой курицей подошёл к нему.

— Кто вам позволил пугать оказию? Я доложу по начальству...

— Кто это? — уже разочарованно спрашивала Нина у офицера.

— Немец один!.. Из аптекарских учеников! — вполголоса отвечал тот, добывая бедного Кнауса.

— Он ушибся?..

— Нет-с... Помилуйте, мордой в воду попал...

— Отчего он бритый?

— Болести здесь... От неопрятности бывает.

Кнаус погиб совсем в её мнении.

Он кое-как взобрался на коня и поехал позади оказии, в то время, как из крепости выезжала целая кавалькада офицеров и юнкеров. Впереди был Роговой в новеньком мун-

дирчике, весь вымазанный резедовой помадой, за ним следовал на тяжёлом коне Незамай-Козёл, твердивший заученное приветствие из «Библиотеки для чтения»... За ними сияли, точно лакированные, два юных юнкера с такими счастливыми лицами, что Нина ещё издали улыбнулась им. Подъехав к ней, впрочем, и Роговой, и Незамай-Козёл растерялись. Первый забыл даже фуражку приподнять, а второй выговорил только начало фразы, которую ещё мгновение назад хорошо помнил.

— Сударыня, мы все очень...

И на этом осёкся и покраснел, встретив взгляд больших чёрных глаз.

— А где отец?.. Батюшка где? — волновалась Нина, высовываясь из тарантаса.

— Они-с... Они-с сидят на башне.

— По долгу службы. Ни в каком экстренном случае им оставлять крепости не полагается, — отрапортовал Роговой и победоносно оглянулся на Незамай-Козла. Но и тот оправился уже и, злодейски закрутив усы, выпалил;

— Это всё равно-с, что на башне. Они сле-

дят за вами глазами своего родительского сердца.

И в высшей степени довольный, так тронул шпорой лошадь, что громадный и тяжёлый конь грузно поднялся на дыбы.

— А вы кто? — улыбалась ему Нина.

— Чего-с?..

— Кто вы? Вы тоже из Самурской крепости?

— Да-с... Штабс-капитан... Незамай-Козёл.

— Что? — не поняла Нина.

— Незамай-Козёл... Из запорожцев.

Но девушка, уже откинувшись в глубь тарантаса, едва удерживалась и не удержалась, — засмеялась во всю. Роговой счёл момент удобным для того, чтобы подъехать и отрекомендоваться.

— Прапорщик Роговой!.. Имел честь и удовольствие воспитываться вместе с вами.

— В Смольном институте? — изумилась она.

— Нет-с... Но в дворянском полку, тоже подхладными небесами Петербурга.

Незамай-Козёл был убит и ехал рядом, молчаливый и мрачный, думая про себя:

«Она никогда не согласится быть „мадам Незамай-Козёл“». И первый раз в жизни он проклял своих славных сечевых предков. Потом, впрочем, он утешился. «Надо будет, — сообразил он, убедить её, что ударение ставится у меня не на *é*, а на *ó*; не Козёл, а Кóзел, и всё будет отлично».

1902

Примечания

До свиданья, Париж — фр.

[^^^]

пропущено слово

[^^^]